

Константин Леонтьев

Мой приезд в Тульчу



Константин Николаевич Леонтьев

Мой проезд в Тульчу

«Я приехал в Тульчу раннюю осень. Погода была прекрасная; город оживленный и веселый. Смотреть на него с дунайского парохода было мне очень приятно; не потому, чтобы здания его были красивы или характерны; ничуть. С этой стороны Тульча очень ничтожна; она похожа на многие города Бессарабии, Молдавии и Новороссийского края... Все белые, штукатуренные, невысокие дома и широкие улицы; широкие улицы и белые дома. Одно и то же везде, и в этом однообразии нет ни стиля, ни красоты, ни какой бы то ни было архитектурной или живописной идеи...»

Содержание

I.....	.0005
II.....	.0019

**Константин Николаевич
Леонтьев
Мой приезд в Тульчу**

Я приехал в Тульчу раннею осенью. Погода была прекрасная; город оживленный и веселый. Смотреть на него с дунайского парохода было мне очень приятно; не потому, чтобы здания его были красивы или характерны; ничуть. С этой стороны Тульча очень ничтожна; она похожа на многие города Бессарабии, Молдавии и Новороссийского края... Все белые, штукатуренные, невысокие дома и широкие улицы; широкие улицы и белые дома. Одно и то же везде, и в этом однообразии нет ни стиля, ни красоты, ни какой бы то ни было архитектурной или живописной идеи.

Мне особенно этого рода ничтожество дунайских городов могло быть понятно после того, как я прожил два года в Адрианополе. После пестрой и живописной столицы прежних султанов, после таких монументальных храмов, как мечеть Селима, с четырьмя стройными и чрезвычайно высокими минаретами, или мечеть Уч-Шерифэлли, где низ минарета раскрашен красными и белыми шахматами; после прочных каменных мостов

над Тунджею и Марицею; обширных и древних кладбищ и мраморных фонтанов с арабскими письменами; после старых садов, где деревья так велики и тенисты; после жилищ, окрашенных в разнообразные цвета, нередко обширных и удобных и всегда оригинальных, – увидеть после всего этого большую, белую и бесцветную новороссийскую деревню на турецкой стороне Дуная было все то же, что смотреть или читать какую-нибудь нынешнюю гладко и бойко написанную комедию после шекспировского «Короля Лира» или «Горацийев» Корнеля.

Да, это так: бесцветный, бесхарактерный, белый городок, построенный амфитеатром на полугоре, у берега низменного, унылого, безлесного.

Однако глядеть на него в светлый и теплый, солнечный осенний день мне было приятно. Что-то плохое, положим, ничтожный вид... но что-то знакомое, свое.

Я тотчас же почувствовал, что это нечто близкое мне и вместе с тем странное и любопытное; уголок России под турецким владычеством.

На пристани, сходя с австрийского парохода, я увидел пестрые сарафаны дунайских староверок и синие рубашки их отцов, братьев и мужей. Я уже пять лет перед тем безвыездно прожил в Турции, и до чего я обрадовался этим сарафанам и синим рубашкам навывпуск, – я и выразить теперь не могу.

Квартира моего предместника, консула К., была у самого берега Дуная; пристань австрийских пароходов – прямо против окон и балкона. К-в встретил сам меня на пристани и привел к себе.

Он пробыл вместе со мною всего дня три, сдал мне дела и уехал в Боснию, а я остался один с прислугою в этом большом двухэтажном доме, которого хозяин был тоже русский, богатый старовер – Филипп Наумов. Я ходил по просторным и безлюдным комнатам и радовался особою, новою для меня радостью. Радость эта была вот такая: «Не выезжая из Турции – я дома! Не теряя ни одной из выгод положения русского агента на Востоке, – я опять как будто у себя на родине... Уж не в Калуге ли я моей милой? Вот опять розовый сарафан и пестрый фартук под окном моим; вот серая

поддевка. Вот песня точно такая же горькая и прекрасная, какие я слышал в Кудинове на-шем, за садом, в поле или в роще, в которой я помню даже, где какая трава растет!»

Веселая, яркая одежда и печальная песня родного края!

В доме у меня служат две женщины русские, настоящие русские: Акулина и Аксинья. Акулина очень лихая вдова, пожилая кокетка, даже пьяница... Аксинья, напротив того, скромная, добродетельная, замужняя и тоже немолодая женщина; Акулина служила у предместника моего чем-то вроде горничной; Аксинья готовила кушанье. И они обе повязываются по-русски, говорят и держат себя так, как говорили бы в Орле или Мещовске...

Я был рад и ленивым щам, и пирожкам русским, и квасу, и даже водке русской, которую я вовсе не особенно люблю, но все-таки больше, чем азиатскую раки.

Вот звонят колокола в какой-то близкой церкви.

Старые турки в настоящей Турции восклицают с негодованием, когда слышат христианский звон.

– Турция ли это?

И я готов воскликнуть тоже: «Турция ли это?»

Да, это Турция. Вот веет на белом здании пунцовый флаг с большим полумесяцем; вот идет отряд низамов в синих шальварах и фесках... А колокола звонят все громче и громче на серой, деревянной церкви, в двух шагах от консульства; это староверческий храм. Это звонят некрасовцы – потомки тех казаков-староверов, которые, под начальством Игната Некрасова, ушли когда-то из России служить султану. «Игнат-казак», сначала звали их в Турции; звали их так, пока помнили самого атамана Игната, а потом стали звать «Инат-казак», – упрямый казак, упрямый в вере своей, казак непоколебимый!..

Служил Инат-казак султану верно за ту свободу строить церкви и громко звонить, которую им дала турецкая власть, и турецкое начальство всегда любило своих русских подданных больше других христиан. И оно было право: русские под властью турок – не политики, подобно юго-славянам и грекам, им нужно только одно: свобода веры, и пото-

му-то турки и дали им охотно эту свободу громко звонить, которую они другим христи-анам, более политикующим, без настоятель-ного вмешательства русской дипломатии, ни-когда не давали.

Вот и кабак... недалеко от моего дома. Не прошло еще и недели после моего водворе-ния, – иду я один, без каваса, в праздничный день, в сумерки, по улице откуда-то домой.

Слышу нашу брань и крики... Смотрю – на улице, у дверей питейного домика, неболь-шая толпа «мужиков», настоящих мужиков великорусских, с бородами и рубашками на-ружу... Подхожу и вижу: у одного на груди ру-башка разорвана; у другого кровь на лице. Лица бледные, худые... Другие кричат что-то громко, тоже бранятся, иные молча смотрят; двое в стороне сидят спокойно, на лавочке, у ворот соседнего дома. На мне была круглая форменная фуражка с кокардой и, по обычаю моему, довольно толстая трость.

Хотя все эти соотчичи мои были турецкие подданные, и я ни малейшей власти над ни-ми не имел, – я решился, однако, вмешаться в их дело, и, остановясь перед ними, сказал им

так:

– Перестаньте, пьяницы, драться и буяннить. Срам!.. Что вы, дураки, так бесчинствуете тут! Мне нет дела, что я вам не начальник... Я русский и вы русские – вот что... Пятый год живу в Турции и ни одного народа не видал, чтобы так скверно и часто напивался, как вы... добры слишком к вам турки, слабо вас держат... Бесстыдники... Разойдитесь сейчас и не драться больше... Молчать...

Противники утихли немедленно, и один из них сказал:

– Правда, батюшка, правда, что срам... Истинная правда, что срам один...

Окружавшие тоже согласились, что срам. Драка прекратилась; крики и брань внезапно утихли; толпа начала расходиться, и я, довольный, пошел домой...

А вслед мне один из сидевших до тех пор безмолвно на лавочке у соседнего дома турецких подданных вдруг закричал с восторгом:

– Ура! Александр II! Ура!

– Турция ли это?.. – повторил я...

Мечети даже я не вижу вблизи... Есть одна... но какая... Простой белый дом какой-то, с

обыкновенною крышею; около дома белый минарет, вроде фабричной трубы – и только... У нас в Крыму, в иных деревнях мечети монументальнее и красивее, чем эти... Там больше Турция, чем здесь... Однако – нет. Вот любезный мой и хитрый Сулейман-паша, мутесариф тульчинский, едет ко мне с визитом... На кого он больше похож, на цыгана или на очень смуглого еврея – не знаю, только не на кровного османлиса... Худой и ростом небольшой; черный-пречерный, черноглазый, с широкою черною бородою; в движениях, по природе, живой, хотя и старается придать себе спокойный вид; хитрый, искательный, иногда даже как будто подобоострастный и несколько робкий... но очень умный и приветливый. Он прослужил довольно долго в Вене секретарем при турецком посольстве и по-французски говорил легко и свободно. Мы сразу сошлись хорошо. Ему я сделал визит еще вместе с моим предместником К. Он простился; я представился. К консулам европейским я не хотел особенно спешить. Я находил всегда, что лучше быть поближе к местной власти, чем держаться за европейских аген-

тов... Т. е. держаться их надо было, но коварнее, «в душе» презрительнее, чем относительно местной власти и местного населения. Быть подружнее с пашою, если возможно, – если он поддается; и быть хоть сколько-нибудь популярным среди населения города и края – вот идеал, который я находил всегда наилучшим для русского консула на Востоке и к которому стремился...

Сулейман-паша, посетивши меня после отъезда К. (с которым он был тоже в весьма хороших отношениях), сделал мне вдруг очень оригинальное предложение; он предложил мне сделать визиты всем трем консулам! австрийскому, французскому и эллинскому в его коляске и вместе с ним. Это было вовсе не в обычае, я никогда ничего подобного не слыхал и не видал, но тотчас же согласился с величайшею готовностью... Эта фантазия Сулеймана ничего и не могла иного означать, кроме особой личной любезности, да, пожалуй, еще какого-нибудь смутного желания показать многолюдному на Нижнем Дунае русскому (или вообще христианскому) населению, до чего теперь Турция с Россией

ладят, несмотря на некоторое разномыслие по делам критского восстания, еще пылавшего тогда на далеком и прекрасном острове... Что же за беда! Если ему приятна такого рода демонстрация, я ничего против нее не имею.

И мы собрались делать вместе визиты европейским консулам. Я пришел к паше с своим кавасом, красавцем, бронзовым негром Юсуфом. Хорошенький фаэтон уже был готов у крыльца; лошади отличные, вороные. Вокруг стояло несколько конных жандармов; в ожидании губернатора они спешили и держали своих коней под уздцы. Паша оказал мне еще одно, очень тонкое внимание: он расхвалил красоту моего Юсуфа и предложил посадить его на козлы с кучером, вместо своего чубукчи; это значило как бы то, что он желал сохранить при мне и каваса моего, как признак моего звания. Зная, что турок может быть до тончайших оттенков любезен, если он захочет, я был очень тронут этою милою предусмотрительностью, и мы пошли садиться.

Но тут, при отъезде, вышло для меня неожиданное затруднение, по вопросу тоже

весьма тонкому и вместе с тем существенно-му. Как было сесть в коляску? Это оказалось не просто. Коляска была обращена правою стороною к подъезду. Паша вошел в нее первый; сел с этой правой стороны и вытянул ноги. Мы обменялись быстрыми взглядами. Сулейман смотрел так мило! Черные большие глаза его были приветливы и томны, как у девушки, которая с любовью глядит на мужчину... Что мне было делать? Перешагнуть через его вытянутые ноги и сесть на левую сторону. Эта мысль мелькнула у меня на мгновение, но я решился уступить; обошел вокруг перед дышлом, и мы помчались в гости к австрийскому консулу Висковичу, который был старшим по времени назначения в Тульчу. У его ворот повторилось то же самое. Я еще раз, скрепя сердце, обошел вокруг, и мы поехали к французскому консулу Лангле. Дорогою я думал, правильно ли я поступил? Мне было очень неприятно обходить перед дышлом, но что же было бы хорошего, если бы я грубо перешагнул через его вытянутые ноги? Сулейману не хотелось, вероятно, при пятерых-шестерых мусульманах (единственных, заме-

тим, свидетелях этого случая), ни уступить правой стороны в экипаже иностранцу, который и чином был ниже его, ни пускать этого иностранца садиться прежде себя, хотя бы и на левую сторону. Я сообразил, что не только его собственным жандармам и кучеру, но и моему Юсуфу это должно было казаться весьма естественным. Сулейман-паша – местный губернатор, мутесариф, генерал, а «русский» – только вице-консул. Так и следует: «Они, значит, оба умные люди и хотят водить дружбу! Пек эи! Пек гюзель!» (Очень хорошо! очень прекрасно!)).

Да! однако... все-таки я содрогался, когда представлял себе, что придется еще два раза обойти вокруг дышла, и особенно у греческого консула, на более людной улице, где нас могут видеть и христиане. Во мне уже начала расти и утверждаться решимость перешагнуть через вытянутые ноги хитрого турка. Он мне что-то очень любезно рассказывал; я ему улыбался и как будто слушал; но в сердце моем было иное... «Перешагну!»

Но к счастью и к радости моей – и у мосьё Лангле, и у греческого консула Николаидеса

коляске пришлось стоять к подъезду левою стороною, и все тогда разрешилось просто и легко... Мутесариф входил в экипаж первый (это так и следовало); он садился на правую сторону; но русский вице-консул садился прямо вслед за ним; он уже не обходил смиренно вокруг дышла.

Досадно даже и теперь, через столько лет, вспоминать об этом! Но я хорошо сделал, что уступил в этом неприятном и мелком обстоятельстве: Сулейман, конечно, понимал, что я мог безнаказанно сделать ему грубость, попросить принять ноги или перешагнуть через них. Что же бы вышло? Тогда бы он принужден был уступить; все это так, конечно... Но я знал уже по прежнему опыту, что турецкие начальники за некоторые уступки им во внешних формах почета и почтения готовы сделать множество других, гораздо более существенных, одолжений по службе нашей.

И я не ошибся в расчете, когда, содрогаясь внутренне, обошел два раза около дышла; Сулейман, в течение полуторагодовой моей службы в Тульче, почти ни разу ни в чем серьезном не противоречил мне и даже не раз

потворствовал моим действиям.

Мои два обхода вокруг дышла видели только пять-шесть мусульман; мои позднейшие удачные дела, в которых паша или поддерживал меня, или, по крайней мере, мало мешал мне, видел весь город с его разнородным, жадным до политики и впечатлительным населением.

Могу сказать, что и при предместнике моем К., и при мне русское консульство в Тульче больше всех остальных консульств имело то, что зовется «престижем!»...

Весело мне было тогда!

Отчего же мне было так весело в Тульче? Все было хорошо тогда; все весело!.. Я был тогда здоров и жаждал жизни, движения, дела; искал и поэзии, и практической борьбы... И все это было; все – и поэзия, и практическая борьба!.. О жизни сердца моего я здесь молчу... И оно жило тогда; жило так, как любит жить человеческое сердце: и смело, и томительно, и бодро, и задумчиво, и тихо, и мечтательно... И впереди, впереди казалось столько долгих лет, столько успехов, столько силы, столько наслаждения...

Увы! я скажу теперь, как сказал немецкий физиолог и мыслитель Карус в предисловии к одной из своих прекрасных книг. В известные годы, – сказал он, – «man wird sich selbst historisch! (оно само становится историческим!)» Только он, счастливец, «sich selbst historisch» стал к годам восьмидесяти, кажется, а я в пятьдесят с небольшим, вспоминая себя самого в Тульче, – и дивлюсь, и говорю себе стихами Кольцова:

*Ты проснись, оглянись,
Что ты был и что стал.*

Теперь, когда я вижу свой тогдашний портрет, немного фатоватый, пожалуй, с выбритым и довольно резким подбородком, с усиками, как у Наполеона III; когда я вспоминаю мою тогдашнюю приятную, спокойную и вместе с тем порывистую самоуверенность, мои надежды, мои идеалы, и патриотические, и личные, – я улыбаюсь и не верю... Я ли это?

Стыжусь сознаться... Нет! Зачем? Кого стыдиться?.. Вот еще! Мне даже легкая эта «фатоватость» нравится в этом человеке, настолько близком мне, что я до тонкости все помню и понимаю, что он чувствовал тогда, и настолько уже чуждом мне теперь, что я могу его судить беспристрастно, и готов его и осудить, и похвалить, где можно, без малейшего смущения; так он стал уже далек от меня!..

Впрочем, зачем осуждать и зачем хвалить; я буду рассказывать правду, и если стоит того, осудят и похвалят меня другие...

Конечно, мне было весело тогда... Это был мой первый самостоятельный пост на Востоке, до тех пор я только «управлял» не раз. Я

чувствовал здесь то, что чувствует военный капитан или майор, который впервые получил полк под команду, и перед которым поприще вдруг расширилось настолько, что от него самого зависит теперь показать при случае, на что он способен.

Это был мой первый независимый пост... Местность не глухая – Дунай между Веною, Белградом, Пештом, Одессою, Царьградом, беспрестанное движение...

Дом покойный, теплый, просторный; на самой реке, корабли идут почти под окнами моими, красиво надувая паруса. Пароходы сменяют друг друга у пристани; австрийский, русский, «Messageries». Дел и встреч занимательных множество; если рассказывать – не знаешь, с которой начать!

О ком и о чем начинать? О польской ли здешней эмиграции, за которою я был обязан следить; о действиях ли турецкой власти и о разнообразии ее отношений к разнородным «реальным силам» местной жизни? О староведах? Об их вожде, рыжем и веселом старике Гончарове, который ходил в поддевке, ездил к Герцену, обманул Тувенеля, а теперь водил со

мною теснейшую дружбу? О русских ли молотканах и о том, как я ходил на их богослужение? О скопцах и о Василие Кельсиеве? Или о том, как бунтовали переселенцы-черкесы против турок... Или еще, как мы с греческим консулом вздумали отпраздновать свадьбу короля Георга и ее высочества великой княжны Ольги Константиновны? И отпраздновали ее так хорошо, что и сами не ожидали... Или о том, как я ловил ужасного, жестокого убийцу, староверческого священника Масляева, гиганта ростом, силою и отвагою.

Как я ловил его и как поймал удачно... И что говорили тогда и делали староверы...

Было много тут дел, и политических, и религиозных, и полицейских, и личных... Скучать было невозможно; тогда, при турках, по крайней мере... Быть может, теперь, при румынах, стало хуже, потому что пошлее румын я не знаю народа, а я народов много, очень много разных видел и знал...

В то время, в мое, и в самом главном городе, и во всей Добрудже, вокруг Тульчи, население было очень разнообразно: турки, татары крымские, черкесы, молдаваны, болгары,

греки, немцы-колониисты, русские нескольких родов: великорусы-староверы (некрасовцы или липоване), великорусы-православные, молоканы (также все великорусы; их зовут там иногда немоляками), малороссы (их называют на Дунае обыкновенно русскими, а великорусов чаще обозначают именем той секты, к которой они принадлежат).

Я и тогда еще, размышляя об этом живом, этнографическом музее, который меня окружал, часто говорил себе вот что:

– Вот куда бы приехать русскому ученому, серьезному, беспристрастному, чуждому всякого духа партий, умному, с широким воображением и с привычкою к неизбежному мелкому труду, и без всякой либеральной тенденции изучить образ жизни этих вероисповедных, национальных и племенных образчиков или обломков, приютившихся здесь, близ устьев великой реки, под одним и тем же небом, в одном и том же климате, на одной и той же почве (почти одной и той же), под одною и тою же турецкою властью.

Да! под одною и тою же властью – вот что особенно важно в наши дни разрушительных

и сентиментальных тенденций. Это я, слава Богу, понимал не хуже теперешнего и тогда, когда восхищался пестрыми и розовыми сарафанами староверок, как Лермонтов «резными ставнями» мужицкого окна!

Небо одно над всеми этими людьми, земля почти все та же под ногами их; над всеми одна власть, один султан, один паша, один и тот же заптие.

Почему же трудолюбивее и зажиточнее всех болгарин? Почему русский всех пламеннее в вере своей? Почему татарин крымский деятельнее своего единоверца и соседа, деревенского турка? Отчего православные хохлы как-то злее и неприятнее великорусских раскольников?.. Отчего эти великорусы пьянее всех, а девушки и женщины их всех разгульнее?.. Почему молдаваны ни то ни се?.. Что-то послабее болгар, что-то побесцветнее малороссов, и совершенно ничтожны, бледны и невыразительны, если сравнить их с русскими староверами, в которых и хорошего, и худого всегда найдешь бездну, которые везде заметны, везде слышны и везде занимательны?

Не любопытен ли был бы такой этюд науч-

ный и живописный в одно и то же время, глубокий по задаче и полезный по неизвестным еще выводам?

И власть, и все почти независящие от субъективного расположения людей условия – одни; но видимые плоды: психологическое настроение, результаты экономические, нравственные, религиозные, политические, умственные – крайне различны у всех этих этнографических групп...

Сам я не мог этим заняться, мне нужно было служить; мне нужно было писать совсем другое тогда; мне хотелось жить, наконец; жить, говорю я...

Но я невольно думал обо всем этом и чувствовал ежеминутно на себе дыхание той поэзии, которою веяло от разнообразной жизни окружающей меня страны, – жизни, там – застывшей в упорном охранении, здесь – куда-то рвущейся вдаль... Эти тихие-претихие, как бы забытые, деревни, живущие каждая своими дорогими преданиями, и этот кипучий, торговый, международный, почти европейский Дунай!..

Ведь и мыслить независимо, как я мыслил

тогда, между делом и весельем, разве не приятно? Разве это не наслаждение особого рода, ничем другим не заменимое!..

Да, все казалось веселым тогда; все... или почти все мне нравилось тогда в Тульче, а что и не нравилось, с тем я или справлялся скоро, или мирился иначе как-нибудь!..

Больше всего меня оживляло все-таки то, что я, оставаясь в Турции, был как будто дома, у себя, на родине...

И в прекрасном, живописном греческом Крите, почти райском по климату, по красоте и места, и самих жителей, и в более суровом, но характерном и крайне выразительном, вполне турецком Адрианополе, было больше стиля, больше однородной значительности, чем здесь, в этой живой и слишком смешанной стране. Но что же мне делать – там я не был дома, а здесь – я из окон своих видел даже... что бы вы думали?.. Избушки русские, на том берегу, на плоском острове Дуная, отошедшем от нас к туркам обратно, по окончании крымской войны.

Эти избушки были сторожками казацкими, русскими до крымской войны. Остров от-

няли у нас, а хатки остались все те же в 1868 году, и в них тогда жила турецкая стража. Я чувствовал, что я почти дома; я знал даже, что в Измаиле (до которого и часу нет езды на пароходе, по Дунаю), что в этом Измаиле целы около бульвара русские полосатые, казенные столбы под фонарями, и что я могу там взять на русской почте такую же точно подорожную, какую я брал в Калуге, в Москве и в Нижнем.

Через несколько дней после отъезда К-ва в Боснию, когда я уже был один в доме, я вошел в полуденное время в ту комнату, где я устроил себе кабинет. Вошел; перед окном стоял красивый письменный стол, уступленный мне К-м; где-то по соседству, у служанки, должно быть, в кухне, громко пела канарейка; на окне, за письменным столом, вился густой плющ, и в нескольких местах он пробирался сквозь отверстия ажурных занавесок... Налево, у стены, стоял хороший рояль, на котором еще всего дня три тому назад молодые супруги К-вы играли в четыре руки такие знакомые мне вещи... Нагие, белые штукатуренные стены и штукатуренный, гладкий, обык-

новенный потолок.

На одной из стен часы с маятником... По двору идет Аксинья, в скверном, каком-то рыжем «шушуне», от которого вечно на всю комнату пахнет щами и ржаным хлебом... И я этого терпеть не могу и гоню ее вон за это, и хочу даже совсем отпустить... И голых белых штукатуренных стен и потолка не люблю... и занавесок этих ажурных тоже не люблю... Все это ужасно пошло... И даже этот плющ в горшках! Так нехорошо!

В Адрианополе деревянные, резные потолки были так разнообразно раскрашены, и разноцветные, узорные стены с турецкими шкафчиками так красивы, розовый с белым и светлосерым, пунцовые, синие, голубые, темно-розовые со светло-розовым. А здесь – белая штукатурка и белая штукатурка. Я всегда готов был ненавидеть русский ум и русский вкус за недостаток творчества и стиля.

Ни дерзкой, гениальной выдумки, ни могучего, упрямого охранения. Но как ни старался я быть «объективным», как ни мечтал я уже и тогда о независимой, оригинальной, богатой даже и внешними формами, великорусской

культуре, «память сердца», непобедимая сила прошлого, чувства юности и детства здесь овладели мною внезапно, вопреки потребностям ума!..

Уму этому, томившемуся по своеобразию, силе и картинности, удовлетворить могли здесь только раскольники, с их оригинальными формами, с их независимым духом, с их видом, вовсе не западным, не буржуазным, уже почти до отчаяния и в Петербурге мне наскучившим.

Все остальное в этой полурусской Тульче было так обыкновенно и так плоско.

Но зато все было так оживлено движением, и так где-то прежде видано, и сердцу, этому глупому человеческому сердцу, так знакомо и так близко!..

И противная белая штукатурка домов на улице, и потолков и стен внутри; и плоская местность у реки, и жалкие ракиты, и кабак, и звон «вечерний», и Акси́нья со своими щами и черным хлебом, и ажурные занавески, сквозь которые так приветно и так наивно-мило пробился бедный комнатный плющ... И рояль...

Все это я где-то давно, на родине знал. Одно – в Крыму, «где я любил, где счастье видел», другое где – не знаю. В Москве ли, в Юхнове или на волжских берегах, не помню!.. И не все ли равно? Везде была радость, везде было горе, и везде была родина!..

И мне казалось, что я на эту родину вернулся, когда сел за письменный стол и задумался, глядя на рояль, и на плющ, и на солнечный свет, который праздничным сиянием озарял всю комнату. Я сознаюсь в моем безумии. Мне показалось и солнце это иным, не тем, каким оно было в Адрианополе и Крите, а именно таким, какое сияло в моем тенистом родном Кудинове, в нашей длинной зале, по которой ходила еще тогда живая, любимая и покинутая мать.

Я сел в этой комнате, забылся так сладко и так радостно и сказал себе:

– Я дома, дома и никуда больше отсюда не хочу.